

II

ЖГУТ

Архиерей брал моего батюшку своим провожатым «по епархии», а ехал он по епархии в заволжские уезды. В день отъезда папенька отправился к архиерею очень рано поутру, — осмотреть карету, уложить вещи и сделать все такие сборы; как будут они кончены, так и поедет папенька с архиереем прямо на пристань, где со вчерашнего дня стоит «дощаник» (небольшое судно с палубой) * для перевоза архиерея с его свитой через Волгу; итак, с архиерейского двора прямо на дощаник; захватить домой еще раз проститься будет нельзя, хотя для этого довольно было бы менее четверти часа, — наш дом был менее чем в полуверсте от архиерейского, и можно бы, кажется, отпустить на четверть часа человека, который проработал над вашими удобствами с 4 часов утра до 12 или до часу. — Архиерей был Иаков (бывший потом в Нижнем), писавший ученые сочинения о местных наших золотоордынских древностях, — эти брошюрки он переписывал с рукописных листков профессора нашей семинарии Г. С. Саблукова (после бывшего профессором Казанской Академии), одного из добросовестнейших тружеников науки и чистейших людей, каких я знал, — печатавший и свои проповеди, которые замечательны не сами по себе, а по переписке. Папенька был человек, страшно заваленный работою: он своею рукою писал от 1 500 до 2 000 «исходящих» бумаг в год, — да кроме того, производил бог знает сколько следствий, кроме того был тогда членом консистории (интересно его удаление от этой должности: история изумительная, — хорошо, если можно будет рассказать ее), — кроме того, имел службу по своей приходской церкви, — много было дела. Но у него был хороший почерк, хоть вовсе не каллиграфический, почему-то почерк этот стал нравиться Иакову больше всякого каллиграфического, и он отдавал свои проповеди переписывать моему папеньке; папеньке, человеку до такой степени заваленному работою (которая почти вся проходила под резолюциями Иакова, стало быть была известна, велика ли), имевшему тогда уже под 50 лет, слабевшему глазами. Если бы Иакову пришло в голову, что это — лишнее обременение, он, конечно, не стал бы делать этого. — Вот, так и теперь: если бы Иакову пришло в голову, что папенька имеет семейство, что папенька приехал укладывать его вещи в 4 часа утра, что семейство еще спало в это время, — если б Иакову пришло это в голову, он отпустил бы папеньку перед отъездом к нам и не на четверть часа, а на час. Но ему не сообразилось этого, хоть все это знал не хуже самих нас.

* Наши волжские «суда» разделялись на два тогда (вероятно, и теперь тоже) [сорта]: судно — это большой сорт, — то же, как в морском деле «корабль» — и всякий корабль, и, собственно, только линейный корабль; дощаник относился к «судну», как фрегат к кораблю, и тоже славился перед ним легкостью на ходу.

И семья наша знала, что это не сообразится ему: потому с вечера условились, что мы поедем ждать проезда архиерейской кареты в дом родственников, у пристани. Когда карета поровняется с домом, — вот, папенька и скажет: «ваше преосвященство, позвольте забежать (50-летнему «забежать!») — на минутку проститься со своими — они тут меня ждут?», — папенька не посмел бы сказать и этого, — как можно задерживать? — но задержки от этого не выходило: проулки, спускающиеся к Волге, — по-нашему, «взвозы», — у нас очень круты, тогда еще не были мощены, были страшно изрыты весеннею водою в течение сотни лет, — карета должна была вилять слишком медленным шагом между крупных рытвин, — значит, папенька и успеет сбегать, перецеловать нас и догнать карету. Архиерей добрый, — отпустит. — И точно, отпустил, и мы простились с папенькою.

Но мы ждали проезда архиерейской кареты очень долго: Иаков хотел выехать часов в 12, — и мы забрались к родным часов в 11, а архиерей выехал уже перед вечернями, в половине 4-го, и благодаря этому долгому ожиданию были мы свидетелями случая, о котором и пишется мною этот рассказ. Но прежде, — кого же благодарить за это промедление, интересное в воспоминании? — В 11 часов приехала к Иакову «Дмитриха» — г-жа Дмитриева — одна из наших тогдашних пожилых аристократок средней руки, и просидела у него часа четыре, рассказывая о телятах, об овсе, о гусыне, которая кладет что-то очень много яиц, и о своей Матрене, умеющей отлично варить щи, — но больше всего о телятах. Бедняжка Иаков три-четыре раза в неделю проводил так время с Дмитрихою и другими праздными идиотами и идиотками, — и как папенька не смел сказать ему: «ваше преосвященство, позвольте мне на четверть часа съездить домой», — так у Иакова недоставало духу сказать: «извините, мне некогда». — Преемник Иакова стал без церемонии говорить это, и только в нашем, духовном кругу поняли тогда, что он в этом прав; весь город негодовал, — даже люди, считавшиеся умными и не надоедавшие ему сами, обижались за других таким «невежеством». А наши духовные не могли не понять, — им слишком часто приходилось ждать по несколько часов, да и слышали они жалобные стоны измученного Иакова по отпуске гостей. — Так вот, Дмитриха сидела, Иаков страдал, и 20 человек, собравшихся провожать его, — священники, иные прямо от обедни, то-есть не пивши чаю, — тоже страдали, а Дмитриха сидела до 3 часов, хотя и знала, что Иаков хочет ехать в 12, — она, видите ли, очень уважала его преосвященство, не могла расстаться с ним; и правда: в самом деле, очень уважала.

Какого звания был старец, с которым произошла неожиданная для меня сцена, это все равно, — это могло случиться во всяком звании. Он еще занимал должность и служил более или менее исправно. Росту был маленького, крепкого сложения, но сильно выпивал, и оттого в глубокой своей старости стал уступать силам своей жене, которая была старше его двумя годами, — ей в «Пу-

гачи» (то-есть во время Пугачевского бунта) было 14 лет, а ему 12, — но она выпивала только под вечер, потому и сохранилась молодцоватее мужа.

Когда мы приехали, старик был на службе. Семейство все было дома, — беседа шла, ничего себе. Я сидел и скучал. Но вот, явился со службы старик, — назову его хоть Трофимом Григорьевичем, — потолковавши несколько минут, он обратил внимание на меня.

— Что, учишься по-латыни?

— Учусь, Трофим Григорьевич.

— Это полезный язык. А хрии умеешь писать?

— Нет еще, не учился, Трофим Григорьевич.

— Я ведь до реторики доходил, — мастер хрии писать. Теперь таких не пишут. У нас писали по 5 листов, что твоя проповедь.

Итак, разговор был ученый. Старик постепенно разгорячался, — он был уже выпивши, но немного, — сказавши, что в Пугачи ему было 12 лет, он тут же прибавил, что ему теперь 98 лет, — а это было в начале 40-х годов, да и по спискам подчиненных, лежавшим у папеньки, я знал, что ему было 84 или 83 года, — потом пошел и дальше, — стал рассказывать, как он встречал Петра Великого, приезжавшего в Саратов, — но не сказал о том, как он видел море, — стало быть, еще был в своем уме. А море он видел вот как. Тогдашний редактор наших «Губернских ведомостей» написал статью, в которой оспаривал мнение, что саратовская степь была морским дном; разумеется, он не имел понятия о геологии, это знали и смеялись над ним. Однажды зашла об этом речь при Трофиме Григорьевиче, — дело было вечером, следовательно, он был уже пьян, — он вскочил и закричал: «так, врет Леопольдов, тут было море, я сам видел, до самых Хвалынских гор, — прямо, бывало, с Хвалынских гор на корабли садятся, морские пристани там были». (Хвалынск уже на границе Симбирской губернии.) — С тех пор так и засело это в Трофиме Григорьевиче: как пьян, так и начинает рассказывать о море, которое он видел с Хвалынских гор. — Но теперь дальше Петра Великого он не заходил, значит, еще не был пьян. После встречи Петра Великого стал он мне рассказывать что-то о Москве, в которой случилось ему быть, и заинтересовался предметом.

— Трофим Григорьевич, не кричи, мешаешь нам говорить, — строго сказала жена.

— Я не кричу, Мавруша; — и точно, он не кричал; однако понизил голос, — но опять воодушевился, заговорил громко. — «Постой же, я тебя поучу, старый», — и я не успел моргнуть глазом, как уже вижу — старуха подбежала, подняла мужа за шиворот одною рукою, — старик повиновался, поднять и нагнуть было не трудно, — и...